



^ В. Юдинцев. Портрет Ильи Лежавы. 1970-е. Из личного архива Ильи Лежавы

## Об Илье Георгиевиче Лежаве (11 марта 1935 – 28 сентября 2018) / About Ilya Georgievich Lezhava (11 March 1935 – 28 September 2018)

^ Студенческое фото. Апарин, Пхор, Воронежский, Чемерис, Серебрянский, Лежава (статья Евгения Пхора, стр. 204–213 ПБ39–40\_шестидесятники)

Для одного только упоминания о креативных проектах и заслугах Ильи Георгиевича Лежавы не хватило бы и целой книги; она, конечно же, еще будет написана. Уже в год выпуска из МАрХИ он стал одним из идеологов НЭРа, пятидесятилетию которого посвящена была недавняя выставка в «Руине» МУАРА «НЭР: по следам города будущего. 1959–1977». НЭР (Новый элемент расселения), концептуальное футуристическое направление, повлиявшее на развитие современного градостроительства, был серьезной интервенцией, прорвавшей железный занавес изнутри наружу, из СССР в окружающий его мир; он принес всемирную известность его создателям. До сих пор опыт НЭРа изучается и используется в самых разных градостроительных концепциях и реальных проектах.

Илья Лежава, один из создателей этой яркой концепции, продолжение которой – Сибстрим – было опубликовано в свое время в ПБ47\_элиты, в 80-е годы стал еще и «котцом бумажной архитектуры». «Бумажные проекты», в создание которых вложили свою недовостребованную советской практикой энергию, изобретательность

и фантазию многие молодые архитекторы, стали способом архитектурного мышления, нацеленного на будущее и не имеющего средств для реализации в настоящем.

Уже этих двух открытий хватило бы для того, чтобы признать Илью Лежаву классиком архитектуры. Он награжден премией Международного союза архитекторов в области критики и образования в архитектуре имени Бернара Чуми.

Лежава – автор десятков книг и статей в самых известных журналах, в список которых входит и культовый французский L'Architecture D'Aujourd'hui. ПРОЕКТ БАЙКАЛ был горд, оказавшись в их числе: у нас, помимо Сибстрима, Илья Георгиевич опубликовал несколько статей о классиках XX века (ПБ46\_кварталы; ПБ49\_природа в городе; ПБ53\_cui\_prodest).

Талантливый человек талантлив во всем. В рассказе о военном детстве, присланном И. Г. Лежавой для публикации в ПБ, есть все, чего можно требовать от высокой литературы: «чувство живости», непосредственность интонации, эмоциональность и дар слова.

EG / EG



> Марк Меерович, Илья Лежава и Елена Григорьева на Байкале, 2016 год



**Ключевые слова:** мемуары; детство; Великая Отечественная война; восстановительный поезд; эвакуация; Казахстан; Родниковка; Москва; военнопленные; сленг. /

**Keywords:** memoirs; childhood; Great Patriotic War; emergency train; evacuation; Kazakhstan; Rodnikovka; Moscow; prisoners of war; slang.

## О военном детстве / About My War-Time Childhood

### 1. ПОЕЗД. АВГУСТ 42-ГО

Конец августа 42-го года. Еще неясно, кто победит в Великой войне. Немец силен. Захвачены Смоленск, Орел, Курск, Харьков, Ростов, Краснодар. Провалилось наше наступление в Крыму. Воронеж переходит из рук в руки. В Сталинграде уличные бои.

Мичуринск. Сортировочная. Живу в вагоне. Мне семь, и я мало что понимаю. Я не жду окончания войны. Я не слежу за движением войск. Просто живу в войне и другой жизни не знаю. Отец пропал без вести где-то под Керчью в Крыму. Но война не только для меня – она для всех. Вся страна живет «в войне». Война – это голод, холод, разбитые семьи и работа по 12 часов в сутки. А еще есть «фронт» с «передовой», где еще хуже. Там тысячи людей калечат и убивают.

Через сортировочную бесконечной чередой движутся на фронт военные эшелоны с теплушками, набитыми солдатами, и платформы с военной техникой. Взрослые говорят, что составы идут на Сталинград. Обратным потоком движутся зеленые, закрытые, пахнущие хлоркой санитарные поезда, составленные из разношерстных пассажирских вагонов. Усталые врачи и сестры в белых халатах стоят в дверях тамбуров и нервно курят. От них пахнет смертью.

Мы живем в «восстановительном поезде». Это два длинных товарных вагона. Их называют «пульмановские». В одном проектируют и восстанавливают объекты, разбитые войной. В другом вагоне – нары и небольшой стол. Тут и живем. Взрослые целый день работают. Моя мать не вылезает из проектного вагона. Следить за детьми некому, и они предоставлены сами себе. Дети – это я, девочка Женя, немного старше меня, Сашка пяти лет и еще малыш, но он при матери.

Лето. Жаркая ночь. Широкие раздвижные двери жилого вагона всегда открыты. Прибита доска в виде перил, чтобы никто не вывалился. Лежу на нарах. Сквозь сон ощущаю: поезд дернуло. Лязгнула сцепка. Зашипел паровоз, и состав медленно начал набирать ход. Колеса застучали по стыкам. Я начал было засыпать, но поезд остановился и плавно поехал назад. Не успел разо-

гнаться – заскрипели тормоза. Вагон дернулся и встал. По буксам застучали молотки смазчиков. Резкие голоса в ночном воздухе:

- Взял – так неси!
- Ага! Командир нашелся! Муде свои неси.

Смех. Мат. Стук молотков. Звуки удаляются. Опять тряхнуло. Перестук буферов прошел по составу. Крик: «Готово!» Хриплый гудок – и паровоз отцепился. Наступила полная тишина. Нас перегнали на дальний запасной путь. Значит, надолго.

Утром увидели зеленые поля, речку с ивами по берегам и вдаль – два развалившихся сарая. Много воды – большая удача. Взяли у начальства день для дезинфекции. Кинулись купаться, стирать. Все вещи вынесли на улицу. Выбили матрасы. Накидали на них полынь от клопов. Наломали в сарае досок. Развели костер, согрели воду и стали стирать белье и мыть изнутри жилой вагон. Обварили кипятком пол и стены. Достали где-то паяльную лампу и прожгли щели в нарах, уничтожая клопов и вшей. А мы...

Жизнь на сортировочной интересна и динамична. Водоканал наливает в паровозы воду. В тендеры загружают уголь. Черные от пыли грузчики закидывают его туда лопатами. Потом моются под сильной струей водоканчки. Уголь разный. Бурый – для простых паровозов. Антрацит (с прожилками, как серебро) – для больших, классных. Есть огромный «круг», на котором поворачивают паровозы (смотря куда им ехать). Есть «горка», с которой пускают вагоны. Вагоны катятся, сцепщики там, где надо, их останавливают, подставляя под колеса «тормозные колодки» (большие железные накладки на рельсы). Затем они сцепляют эти вагоны и формируют составы. Действовать надо быстро и умело. Сцепщик всегда знает, что с чем соединять следует.

Есть также на каждой станции специальный домик, где день и ночь кипятят воду. На улице торчат краны «хол» и «гор». Огромное число людей передвигалось по стране. Кипяток – это основа гигиены, поэтому кипяtilьня была обязательна на каждой станции. Во время стоянок все – и беженцы, и солдаты – бегали за кипятком. Очереди. Наполняют емкости: не кипятить же чай на деревянном полу в теплушках! Эта вокзальная услуга просущество-

текст  
**Илья Лежава**/  
text  
**Ilya Lezhava**

вала до 60-х, когда теплушки стали исчезать и появились хорошо оборудованные цельнометаллические вагоны.

На любой железной дороге особое место занимают паровозы. Гигантские красавцы «Феди» (ФД – Феликс Дзержинский) или «Сережи» (СО – Серго Орджоникидзе). Они везут огромные военные составы. Большая удача увидеть «ИС» – Иосиф Сталин: весь стремительный, в обтекаемых обкладках. Его к любому составу не прицепят, только к литерным, пассажирским. Нас же по путям перемоняют маневровые: Щ («Щуки»), Ы или даже Ъ. А между городами обычно используются ОВ («Овечки»): к нашим маленьким, разношерстным составам ФД не прицепишь.

Жизнь ребят на сортировочной не только интересна, но и опасна. Опасно, например, задерживаться на чужом составе. Ход наберет, на высокую насыпь заедет – там уж не спрыгнешь. Плохо, если спешишь, а по путям гонят длиннющий порожняк, вагонов на 20. Непрерывно приходится «нырять» под вагоны. Ясно, что делать это надо умело. Следует посмотреть, есть ли у состава паровоз! Если есть, то лезть надо подальше от колес и лучше под длинные вагоны. Огляделся – и раз – под вагон. Огляделся – и из-под него. Между вагонами тоже не проскочишь. Наступать на сцепки или буфера ни в коем случае нельзя. Нogu может расплющить. Если кондукторов нет, лучше пользоваться тормозными площадками. Можно также на стрелках попасть ногой между рельсами. Стрелку дистанционно переведут, нога в зазоре застрянет – а тут паровоз. Локомотив – это не современный электровоз; впереди окон нет. Машинисту для того, чтобы увидеть дорогу, надо высовываться в боковое окно. Может и не увидеть человека с зажатой ногой и задавить. Жуткие истории ходили по железным дорогам про эти стрелки. Еще опасность: вагоны непрерывно гоняют туда-сюда, пропускают военные составы. Пошел гулять, а твой состав перегнали на другой путь. Найти свой вагон, особенно на большом разъезде, трудно. Но мы, дети, гоняем по разъезду, и нам все нипочем.

А составы все идут к Сталинграду. Непрерывным потоком движется на фронт техника и люди. В теплушках едут солдаты. В грязных цистернах везут горючее. На платформах танки, самоходки, пушки, гаубицы, полуторки, трехтонки. Их охраняют часовые. Штыки примкнуты, на плечах плащ-палатки с зелеными разводами. Иногда на стоянках особые составы, охраняются по периметру. Иногда на платформах, тоже строго охраняемых, что-то закрытое брезентом, видимо, ракетные «катюши».

Мы бегаем между составами. Смотрим технику, слушаем песни. В наших же вагонах даже радио нет. На тормозной площадке, на откидном стульчике, сидит гармонист. Рядом на платформе солдаты охраняют две пушки-сорокапятки. Другие из теплушек набежали. Гармонист допевает жалостливую:

– ...спи, успокойся, шалью укройся, сын твой вернется к тебе...

Мы стоим между составами. Ждем. Солдаты перекинулись словами, посмеялись, закурили: «Давай нашу, сибирскую».

Гармонист прошел по планкам:

– ...барыня ты моя, сударыня ты моя...

Пауза. И вдруг он запел другим, хриплым голосом. Неспешно:

Вот едет поезд пассажирский из-за Саратова в Сибирь...

А машинисту молодому кричал кондуктор: тормоз дай...

Но машинист на это дело махнул беспечную рукой, а кочегар схватил лопату – и уголь в топку потек рекой....

И вот вагоны застучали среди разобранных путей

И много, много трупов там лежало среди заснеженных полей...

А машинист лежал под паровозом среди обломков и костей,

Весь почерневший от мороза и облитый кипятком (?) (Так уж запомнилось).

Ему хотелось в эту ночь добраться вскорости домой. Поцеловать малютку-дочку, обнять жену своей рукой...

(Говорят, что сейчас нечто подобное поют на эстраде).

Наступила тишина. Вдруг Женя заревела и побежала вдоль состава, спасаясь от этой жуткой истории. Я за ней. Видим – вдалеке, к составу, мимо которого мы бежим, подбирается паровоз. А нам на ту сторону надо. Стоим в нерешительности. Можно под поезд, но тут одни короткие платформы и теплушки. Опасно. Подбежали к тормозной. На ней пожилой охранник.

– Дядь, нам на ту сторону. Пусти перелезть.

– Ну, давай, пестрожопки. Только быстро!

Полезли. Ступени высоко, быстро не получается. На тесной площадке стоят солдаты. Курят махру, балагурят. Пока мимо них проталкивались, по вагонам прошел грохот, прицепили паровоз. Поезд двинулся. Мы кинулись к спуску. Но прыгать было некуда. Между путей валялись шпалы и торчали ручные стрелочные переводы. Поезд набрал ход. Мы в панике. Женя ревет: «Ну дерните тормоз, остановите поезд!»

Я в ужасе ухватился за поручни, прекрасно понимая, что никто военный эшелон не остановит. За это расстрел.

– Ничего! В Тамбове снимут, если, конечно, доедем.

Это шутили солдаты. Но потом стали задирать охранника: «А тебе, бл..., трибунал! Зачем детей на тормозную пустил?» Перепуганный охранник стал выталкивать нас прикладом и орать: «Прыгай, нах...!»

Мы пытались спрыгнуть, но это было невозможно. Сначала шла высокая насыпь, потом состав загрохотал по мосту. Внизу река.

Поезд, переехав мост, стал неспешно огибать старицу. Неожиданно, на повороте, он замедлил ход. Я прыгаю по ходу поезда. Солдаты спускают Женю пониже и отпускают. Она бежит, спотыкается о шпалы и падает. Подбегаю. Коленка в крови, плачет, а состав медленно проезжает мимо и исчезает за поворотом. Наступила полная тишина. Внизу болотце и заросли ив. Омыли ранку и пошли назад к станции. Тропинки нет. Идти по крупному гравию в стареньких сандалиях невозможно. По шпалам тоже неудобно. Шаг слишком большой. Женя хромает. Шли долго. Устали и присели на рельсы.

– А мы туда идем?

– Вроде туда. Поезд же в ту сторону уехал.

Сбоку появилась тропинка, и идти стало легче. Наконец вдалеке показался горбатый железнодорожный мост. У моста будка, около нее часовой.

– Куда?! Стоять!

– Наш вагон там. Мы случайно, на эшелоне уехали.

Пустите!

– Назад! Стрелять буду! Через мост не пущу!

– Ну что нам, ночевать тут?

– Да хоть умрите, не пущу!

Мы сели на рельсы.

– Слезь с рельсов. Не положено! И находиться вам тут нечего. Давай вон через реку.

– А мы плавать не умеем.

Что делать? Стоим, размазывая слезы.

– Щас смена придет. Начальник придет, разберется, – спокойнее сказал охранник.

Ждем, кажется, вечно. Снизу, со стороны реки, поднимаются двое. Один в пилотке, с винтовкой за плечами. На ногах обмотки и пыльные ботинки. Другой в фуражке: видно, начальник. Часовые сменились.

- А это кто?
- Да вот, на ту сторону просятся.
- В чем дело, ребята?

Женя шагнула вперед и неожиданно толково объяснила ситуацию. Тот, кто нас не пускал, говорит:

- Может, их по боковой перевести?
- Ты давно ходил? Разбито все нах... Сами еле ходим.

Детям там делать нечего.

Он посмотрел по сторонам, взглянул на речку. Вдохнул:

- Ну чо, пацаны, пошли в комендатуру.

Тут неожиданно послышался скрип и лязг. Вдали из-за поворота показалась дрезина. Два мужика, держась за ручку, раскачиваясь, приводили тележку в движение.

– Погодь! – сказал начальник, встал на шпалы и поднял руку. Дрезина остановилась.

- Слушаю, начальник?
- Ребят через мост перевези.

Мужик, что постарше, посмотрел на нас, видно оценивая ситуацию:

– Залазь! Да не стойте! На ларь садись. Не так! Доску вон возьми, прилады! Ну, давай, поехали.

Начали качать. Сначала дрезина шла тихо. Потом разошлась и поехала побыстрее. Мост проехали, и стало уже не так страшно.

- Ну чё, слазьте. Мост вона где.
- Дядь! Нам на сортировочную.
- Ну да! А соли у вас нет, а то мне переночевать негде...

Тут тот, что помоложе, закричал:

- Дядь Ефим, глянь!
- Вдали, прямо на нас шел паровоз.
- А ну-ка. Давай живо!

Спрыгнули. Я схватил доску. Жене сунули чайник.

Мужики ловко сняли тяжеленную тележку с рельс и поставили «на попа». В ящике загрохотали инструменты. Длинный эшелон проследовал мимо. На платформах техника. Двери теплушек открыты, солдаты сидят, свесив ноги, и безучастно следят за проплывающим пейзажем. Дрезина опять встала на рельсы. Женя заканючила:

- Дядь, а попить можно?
- Пей, только залазь сперва.

Я тоже попил прямо из носика чайника. Чайник зеленый, весь в ржавых вмятинах. Двинулись дальше. Наконец рельсы стали двоиться, и мы добрались до сортировочной. Остановились у будки. Из будки вышел пожилой железнодорожник в полинялой фуражке.

– Ну чё там, разведали?

– Да шпалы сгнили. Мотовоз с бригадой посылать надо.

Мы стоим растерянные. Места незнакомые. Вокруг вагоны, порожняки, грязные нефтяные цистерны.

– Дядя Ефим, а нам куда?

– А я почем знаю. Вон сцепщики за «овечкой», видишь? У них и спроси.

Побежали к сцепщикам.

- Дядь, а куда инженерные перегнали?
- Игнат! Куда пульманы пошли?
- Вон они, там, за седьмым складом, на крайней пути.

Идти пришлось долго. Наконец увидели наши вагоны, а перед ним группу работников.

«Ну, вон они. Слава богу!» – закричал начальник нашего «восстановительного поезда» по фамилии Дергач. Женина мать кинулась к дочери и стала, причитая, колотить ее по спине. Женя втянула голову в плечи, испугано глотая слезы. Подошли и другие. Моя мать молча стояла в стороне и хмуро на меня смотрела.

- Где же вы пропадали?» – тихо спросил Дергач.

Я молчал, не зная, как это все рассказать.

- Женя! Перестань плакать! Скажи, где вы были?

Женя сбивчиво описала события. Люди с ужасом перешептывались.

– Ну что с вами делать! Цепями приковывать, что ли? Надо с ними кого-то оставлять. Но кого? Дел невпроворот.

– Я посижу, – тихо сказала Женина мать.

Постепенно все успокоилось. До ночи сушили вагон. Ужинали на поляне у костра, среди трав, деревьев и развешанного белья.

Но сидеть с детьми никому не пришлось. Каким-то образом нас устроили в детский сад. В детском саду было чисто, светло. В тихий час спали на матрасах, разложенных по полу. Тетенька строгая. Глаза откроешь – шикает. Водили нас на экскурсию в Мичуринский опытный сад. Не сад, а огород какой-то. Дорожки не ухожены. Все растет друг на друге. Там яблони, а на них грушевые ветки торчат. Малина, черника. Плоды огромные и какие-то фиолетовые. Но рвать нельзя: следят! Этот Мичурин, говорят, до революции на железной дороге работал, часовщиком. Ездил от станции к станции и время точное ставил. Где надо – чинил. А яблони, «Ранет бергамотный» и «Бере зимнюю», он выращивал между делом, в свободное время. На саженцах, видимо, тоже немного подрабатывал.

В Мичуринске стояли довольно долго. Потом пульманы перегнали в Тамбов. Было ясно, что жизнь моя средидвигающихся составов добром не кончится. Мать с большим трудом получила отпуск и проездные документы (а время-то особое, все люди находятся на военном положении). Она отвезла меня в Казахстан к ссыльной бабушке, попавшей туда по делам тридцать седьмого года. Бесконечные пересадки, душные вагоны, набитые людьми, ночи в тамбуре, вода в бутылке, кусок черного хлеба в котомке.

Деревня Родниковка находилась в 40 км от Актюбинска. Долгий путь по пыльной грунтовой дороге, на подводе, запряженной быками. А в деревне голодно, никаких поездов, никаких паровозов и водокачек. Два трактора, конь по прозвищу «Алюминь» и необъятная казахская степь...

## 2. ССЫЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ. ЯНВАРЬ 43-ГО

Январь 43-го. Мать восстанавливает разбомбленные железнодорожные станции рядом с передовой. С семилетним ребенком это невозможно. Она с трудом получает разрешение на проездные документы (время-то военное) и везет меня в казахстанскую деревню к ссыльной бабушке. Поезда, тамбуры, пересадки, ночевки на вокзалах. Наконец добираемся до Актюбинска. От него до деревни Родниковка километров 40. Степь. Попутная подвода. Плата – буханка хлеба. Выехали утром, затемно.

Движемся медленно. Телега скрипит и переваливается с боку на бок. Мать и возница идут пешком. Я примостился среди поклажи. На подъямах меня ссаживают. В деревню въехали под вечер. Родниковка растянулась километра на 3 вдоль балки, обсаженной высокими пирамидальными тополями. Кое-где в балке бьют родники. Отсюда и название деревни. По центру деревни идет улица, которая есть часть тракта, пролегающего через бесконечную цепь казахстанских сел. Долго едем вдоль домов, стоящих у дороги. Изба, где приютилась бабушка, на дальнем краю деревни. Дальше степь. Подъехали ночью.

Родниковка наполнена ссыльными. Судя по всему, в недрах НКВД глухая казахстанская деревня была

весьма популярным местом ссылок. Ссылными пытаются заполнить пустующие земли на востоке страны.

Мою бабушку (дед расстрелян в 38-м) и детей ее дочери (расстрелянной в тот же год) Асю и Ростика выслали в 39-м в Астрахань. Моя мать чудом избежала этой участи. Когда в 42-м немцы дошли до Элисты, всех «лишенцев-выселенцев» решили из Астрахани выгнать. Их загнали на баржу и по бурному Каспийскому морю поволокли в Гурьев. Баржа чудом не потонула. Дальше в закрытых теплушках повезли в Актюбинск, а там – кого куда. Бабушку и еще некоторых «лишенцев» пешком и на подводах погнали в Родниковку.

Люди живут в Родниковке разные. Есть эвакуированные из районов, занятых немцами. Местные власти должны им помогать: определять на жилье и устраивать на работу. Но таких мало. В основном живут переселенные украинцы, раскулаченные в начале 30-х. Те из них, кто выжил, построили глинобитные хаты и обзавелись небольшим хозяйством. Говорили они на смеси украинского и русского (кажется, такой говор называется «суржик»). Были и такие, как моя бабушка, высланные недавно, по делам 37–38 годов. Им власти не обязаны были помогать. Приходилось платить за жилье и за еду тем, что удалось привести с собой. В основном – одеждой. Самым ценным были хлеб, водка и одежда. Хорошо еще, если в семье был кто-то, кто мог работать в колхозе. Рабочих рук катастрофически не хватало. Но были и такие, кого, расстреляв отцов, выслали практически без ничего. Да еще с детьми! Многие из них умирали от голода. Помочь им было нечем, поскольку все жили «на пределе». Ссылных часто обворовывали те, кто пустил их на постой. Жаловаться кому-либо было бесполезно. Богаче всех жили местные казахи. Жизнь у них была устоявшаяся. Был скот, было пшено, был чай, был табак. Но они держались своими кланами и со ссылными без надобности не общались.

Итак, мы живем на краю села в небольшой мазанке. Хозяйка тоже ссылная украинка, из «раскулаченных лишенцев». Мужа нет. Он то ли на фронте, то ли в лагерях. При ней маленький сын Петро. Петро уже умел ходить, но спал в люльке («зыбке»), подвешенной к потолку.

Тесные сени, горница, кухня и хлев. Небольшой приусадебный участок. Нас пустили жить в кухню. Там стоит большая кровать, на ней спят бабушка и мы с братом. На лавках – старшая сестра Ася и Мария Петровна, помощница по дому еще с дореволюционных времен. На кухню выходит топкой большая русская печь, но хозяйка пользуются ею редко. Есть и малая печь, для оперативной готовки.

У хозяйки в светелке, на стене, висит фотография. Я иногда подхожу и долго на нее смотрю. Много людей. Мужчины в черных костюмах и белых сорочках, женщины во всем темном стоят у маленького гроба. Некто, похожий на хозяйку, плачет. Ее поддерживают под руки. Фото из какой-то иной жизни. Видимо, похороны на Украине. В Родниковке таких людей я не встречал.

Кроме нас, у хозяйки бывали и другие постояльцы. Одно время в той же горнице, где висела Петрова люлька, в углу жили брат и сестра. Тоже «лишенцы». Родителей, видимо, посадили, а их сослали. Им было лет по 14–15 и звали их одинаково – Валя. Старший был брат. Он зарабатывал тем, что чинил обувь, подшивал валенки войлоком и делал «бурки»: такие валенки с кожаной накладкой внизу. Горит коптилка. Сестра «вощит» дратву куском темного, корявого воска. Брат шилом со специальным ушком подцепляет дратву и протаскивает ее сквозь войлок. Работает он быстро, умело. Стою и смотрю, не отрываясь, как это ловко это у него получается. Потом они нашли приют в другой деревне и переехали.

В Родниковке находились и другие ссылные. Рядом на горке жил румын Попеску с семьей. Говорили, что живут они богато. Спят на мешках с мукой и пшеном. Видимо, многое удалось привести, и было что менять на продукты. По вечерам он гонял на велосипеде с мешком на багажнике. Борода и черный плащ развеивались по ветру. Страшное было зрелище. Видел я также хромого чеченского мальчика. Веселый, смущенный. Мать, тоже «переселенка», недавно умерла. Он побирался и жил где-то у МТС.

Осенью 42-го, когда мы приехали в деревню, я пошел в школу. Школа располагалась на противоположном конце села. По дороге – большой фруктовый сад, заросший коноплей. Конопля издает резкий, терпкий запах. Фруктов нет: их съедают еще зелеными. Школа маленькая. В классах всего 6–7 ребят разных возрастов. Уроки не запомнились, поскольку нас не столько учили, сколько гоняли на скошенные пшеничные поля собирать упавшие при уборке комбайном колоски. Колоски собираем у «больших камней». Это странная куча желтоватых рыхлых обломков. Говорят, что они постепенно растут. Где-то, говорят, есть и «малые камни».

Для сбора колосков детей выстраивали в шеренгу, и мы шли, спотыкаясь, по пашне, царапая ноги жесткой соломой. Колоски отдаем «тетеньке». Жевать зерна запрещено. В конце рабочего дня нам дают 2–3 галеты – и по домам. Отправляюсь в длинный путь на противоположный край деревни. Школа была очень далеко, поэтому, как только начались холода, я перестал туда ходить. Да и одежда моя была не для лютых степных буранов. Местные-то одевались в овчинные тулупчики. Для пошива одежды из овчины в местные деревни периодически навевывалась бригада скорняков. Работали они в пустующем зимой сарае. Кто мог – заказывал.

В Родниковке голодно. Даже черный хлеб с отрубями был малодоступен. Жмых. Пшено. Иногда вареное пшеничное зерно. Осенью овощи. Картошка. Ели лепешки из лебеды, суп из свежей крапивы. Хозяйка все лето выращивала боровка. Когда он был маленький, мы с ним играли во дворе. Носились друг за другом. От чужих его почему-то прятали. К Новому году боровок вырос, и его решили зарезать. Позвали «специальных» мужиков. Они закололи его за хатой. Потом вырыли в снегу яму, развели огонь и опалили щетину. Делали это тайно, потому что по закону львиную долю мяса надо сдать в колхоз. Потом мясо коптили, кишки набивали требухой, делали колбасы, варили холодцы. Для людей, живших впроголодь, кусок свинины был пиршеством.

Зима. Морозно. Мне 7 лет. Послали за молоком в дальний конец деревни. Иду по центральному тракту, спотыкаясь о комья застывшей грязи, оставшейся от осенней распутицы. Темнеет рано. Сквозь белесую мглу виднеются нестройные ряды плетеных заборов и заваленные снегом мазанки на украинский лад. Одет в короткое «московское» пальтишко. Очень холодно. В руке несущий бидон для молока. На голове драный триух. На ногах старенькие бабушкины валенки. К молочнице путь не близок...

Вспоминается лето. Бескрайняя степь. По ней, перегоняя друг друга, катятся подгоняемые ветром «перекапти-поле». Вся семья идет по пыльной дороге к березовым посадкам километров в пяти от деревни. Там нам выделена делянка, на которой разрешено выращивать овощи. Ломаной тяпкой, щепками, ножами пропальваем грядки. Таскаем воду для полива из дальней балки. Растет все плохо. Торчат подсолнухи. Брюква дала ростки. Но тыквы вроде хорошо принялись. Из урожая они – самое ценное, поскольку могут лежать всю зиму.

Обед. На земле – старая льняная скатерть с красными петухами по углам, вышитыми крестиками. Молоко.

Картошка. Немного грубого хлеба с отрубями. Ссылная бабушка распоряжается: «Сидите прямо! Не чавкайте! Не ешьте руками!» Как будто она в Петербурге. К дому идем по степи, ломая на ходу высокие стебли бурьяна. Это степные «дрова». Каждый несет огромную вязанку стеблей, связанную веревкой. Бурьян легкий, но и сгорает быстро. Ищем также сухие коровьи лепешки – «кизяк». Именно это лучшее топливо в казахстанской степи. Но найти кизяк – большая удача. Кизяк тяжел. Его собирают в мешки. В хате его используют, только когда разжигают на праздник большую печь и пекут в ней хлеб (если достали зерно и намололи муку на ручных жерновах). Домой приходим в полной темноте.

...А я продолжаю ковлять по мерзлой дороге. Дошел до середины деревни. Тут дома стоят плотнее, и в некоторых дворах торчат чахлые деревца, покрытые изморозью. Появилась луна. Тусклый ее свет еле освещает дорогу. Стало еще холоднее. Пробую бежать, чтобы согреться. Но бежать трудно, ноги в валенках болтаются. Прохожу заваленный снегом сад. Место опасное. Здесь однажды, когда осенью шел из школы, меня остановили большие мальчишки. Искали деньги. Денег не было. За это и побили. Сейчас, к счастью, никого нет, и даже скамейка, на которой они сидели, занесена снегом. Спешу дальше...

Вспоминаю. Осенью около нашего дома остановилась телега. Возница лег отдохнуть в тень и сразу заснул. Из телеги вылезла странная пожилая пара. Старушка, одетая в белое полотняное платье и кривоватую шляпку из тонкой соломки с маленькими полинялыми цветочками. Она засемила к нашей хате, уселась на завалинку и кокетливо поправила шляпку. Статный старичок взял из телеги потерявший погребец и, манерно разворачивая ступни, направился к ней. Смотрю во все глаза. Таких людей я давно не видел. Из погребца он вынули большой стакан, плоскую металлическую фляжку с гербом и длинную серебряную ложку. Потом мужчина встал и громким голосом прокричал:

– Хозяюшка! Хозяюшка! Мальчик, а где хозяйюшка?

– Нет ее. Затемно в Мартук ушла, – сказал я.

Тогда он направился к нашей соседке, Мулиной, и купил несколько свежих яиц. Потом они стали в стакане сбивать гоголь-моголь, подсыпая сахарный песок и подливая что-то из небольшой гербовой фляги. Мужчина все время назойливо объяснял жене, что желток очень полезен и хорошо восстанавливает силы. Я понимал, что это новые ссыльные, еще не привыкшие к здешней жизни. Понимал также и странность подобной трапезы. За деньги в деревне можно было купить молоко, хлеб, пшено и даже сало. Об этом мечтал каждый «лишенец». А тут – нелепый гоголь-моголь из другой, не ссыльной и не военной жизни. Когда-то я тоже любил этот напиток. Но вот возница проснулся. Приезжие, не найдя воды для мытья посуды, сложили все в погребец. Старушка залезла на телегу и села около возницы, а он зашагал рядом с телегой по пыльной дороге, смешно разворачивая ступни.

...А я все бреду по ледяному тракту, стараясь не попасть в мерзлую колею. Наконец – дом молочницы. От дороги к сенам ведет прокопанная в снегу траншея. Рядом хлев. Вижу там свет в малом оконце. Вхожу. Хозяйка доит корову, непрерывно смачивая молоком пальцы. Струи молока глухо жмакают в большой глиняный горшок. Стою. Жду. В хлеву немного теплее, но не настолько, чтобы отогреться. Хозяйка кончила доить, вытерла руки о фартук и пошла в сени.

– Шо, змёрз, малец? Пишли до хаты.

В хате тепло. Я присел на краешек лавки. Она поколдовала у печки, процедила молоко сквозь марлю и наполнила мой бидон. Потом посмотрела на меня, улыбнулась и протянула небольшую, еще теплую печеную картошку. Я, было, начал ее чистить.

– Та нэ скоблы. Йиш так.

Съел, поблагодарил, взял бидон и вышел на улицу. Погода изменилась. Луна зашла за тучи. Подул ветер, и стал мести снег. Началась поземка. Дорога еле различима и совершенно пустынна. Пытаюсь варежкой закрыть лицо от ветра. Рука, несущая бидон с молоком, совсем окоченела. Холод пробирает до кости. Иду, скользя на кочках. А путь-то не близкий. В голову опять лезет прошлое...

В Родниковке весна. На пригорках сошел снег. Вылезла травка и островерхие побеги бузулука (можно есть – чесночный вкус). Я, Петька Мулин – сосед моих лет, мой старший брат Ростик и парень Матвей с собакой пришли ловить сусликов. Летом на них ставят капканы, ловят и едят. Мясато совсем нет. А из шкурок варганят шапки. Суслики бывают большие жирные, байбаки, и маленькие. Особо ценятся байбаки. Оттаявший пригорок, на котором мы стоим, покрыт сусличьими норами. Собака бегаёт от норы к норе: принохивается. Заскулила, залаяла. Зачерпываем ржавым ведром воду в талом ручье и льем в дырку.

– Все! Вода нейдёт! Он тама! Жопой ход заткнул. Долго не вытерпеть, побегить! – кричит Матвей.

Вдруг вода ушла. Мы льем еще. Собака мечется. Из какой норы выпрыгнет, никто не знает. Матвей, с мешком из рогожи, стоит наготове. Наконец, суслик выпрыгивает. Собака на него. Он – в сторону и оказывается в мешке. «Байбак», – с гордостью произносит Матвей.

...Бреду домой в белом мареве, спотыкаясь на ледяных кочках. Боюсь молоко расплескать. Ветер воет. Снег метет. Наша-то хата последняя в деревне. Вокруг степь. Дошел совершенно оконечивший. Перед дверью – зимняя пристройка от заносов из огромных снежных блоков. Дверь в сени заперта. Стучу, колочу – не открывают. Наверно, собрались у печки и не слышат. Пошел в хлев, хотел оттуда зайти. Темно, споткнулся. Но и там дверь заперта. Полез через глубокие сугробы к оконцу. В валенки набился снег. Расплескал молоко. Стучу. Плачу.

Больше зимой за молоком меня не посылали.

В доме холодно. Топливо в голой степи – редкость. Коровьи лепешки все лето высушивают и на зиму, снаружи, обкладывают стены хлева. Ими экономно топят всю зиму. Бабушка сидит на кровати у маленького оконца, покрытого толстым слоем изморози. Слева и справа пристроились мы с братом. Она накрыла нас своей меховой пелериной с маленькими пушистыми хвостиками (от старых времен). Мерно покачиваясь, читает нам наизусть Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова. Иногда пересказывает Толстого или Тургенева. На лавке полужелит Ася и иногда рассказывает о лесном человеке Тарзане или о Маугли. Ей 19-ть. Училась она в немецкой школе. Там про Тарзана и читала. Книг в деревне, естественно, нет. Из газет, даже если они появляются, крутят самокрутки с махоркой.

Вообще Ася у нас самый важный человек. Она одна работает в колхозе. Что делается на фронте, мы тоже узнаем от нее. Ей иногда удается послушать радио. Работает она в МТС трактористкой. Трактора старые, изношенные. Всю зиму их чинят, готовят к весне. Получает она продуктами очень скромные «трудодни». Иногда хлеб дадут липкий, пахнущий керосином. Иногда немного пшеницы или пшена насыпят. Пшеницу приходилось потом молотить на ручных жерновах, превращая в муку.

Однажды осенью Ася прикатила на двухместной бричке и привезла «трудодни» за целый сезон. Потом нас с братом на ней покатали. Привезла картошку, кабачки, огурцы, тыквы, зеленые помидоры и маленькие арбузики и дыньки. Это было большое событие. Помидоры долго лежали на окне – зрели. Но этого хватило ненадолго. Приходилось опять менять остатки вещей на еду. Тем и жили. Деньги не в ходу. Да их и не было. Как протянуть до следующего лета – неизвестно. Страшные ве-

тры, бураны, морозы еще впереди, но поля уже занесены снегом. Хата холодная. Топлива до весны не хватит. А эта, вторая моя зима, только начинается.

Каждую ночь вижу один и тот же сон. Московская квартира. Я лежу в ванне. Горячая вода капает из крана: кап, кап, кап, кап... Тепло и спокойно. Мать входит с раскрытой простыней. Я встаю, и сон уходит. Просыпаюсь. Тесная кухонька. Оконце, покрытое желтоватой изморозью, а за окном воеет степной буран.

Но скоро мои беды кончились. Это уже зима 43-го года, и немцев отогнали от столицы. Люди потихоньку стали возвращаться на отвоеванные земли из эвакуации. Мать прислала какие-то документы, и я с Асей еду в Москву. Она хочет поступить в МГУ на химфак. Ей это удается, хотя для «лишенцев» вузы закрыты. Но в анкете она написала, что родители умерли, а не расстреляны. Пронесло. В стране «лишенцев» столько, что контролировать всех невозможно.

И вот опять сорокакилометровый переезд на подводе по зимнему тракту. Ветер. Холодно. Метет снег по мерзлой земле. В Актюбинске – ночевка на постоялом дворе. Нары. Люди, не раздеваясь, лежат впалку. Вещи кладем под голову. Но это не помогло. Ночью у нас все же украли с трудом добытую буханку черного хлеба. Влезли в поезд, идущий до Куйбышева (Самара). Там пересадка на Москву.

В Куйбышеве привокзальная площадь забита людьми. На вокзале спят на полу. В поезда не пускают, если не пройдешь «санобработку». Жесткая борьба со вшами. Вши – разносчики тифа, в Первую мировую от тифа умерло больше людей, чем от пуль. Ася пошла посмотреть, что и как, а я сижу у забора на гряде бревен, обняв вещи. На заборе плакат: «Болтать – врагу помогать». У врага пол-лица услужливо-любопытное, а другая половина надменная, с моноклем в глазу. В дальнем углу площади – санпропускник. Очередь в санпропускник огромная, но с детьми пропускают в другую дверь. Сдаем вещи на хранение. В пропускнике раздеваемся догола. Женщины в белых халатах осматривают тело, нет ли сыпей, нарывов, колтунов в голове Одежда идет в спецальную печь на «прожарку». Там уничтожаются вши и их личинки – гниды. Потом вырывают из книг листы, сворачивают кульки, льют в них жидкое мыло, вручают нам и отправляют в баню. Народу тьма. Находим место. Ася оставляет меня одного и идет искать «шайку» (таз для воды). Я, в ужасе, смотрю на море голых баб, боюсь потеряться. Моемся, особенно скребем голову. Потом вычесываем ее частым гребнем и смотрим, нет ли вшей.

Наш поезд завтра на рассвете. Ася сдает меня в «детскую комнату», а сама устраивается на полу в зале ожидания. Ночь. Медсестра ведет в огромную комнату. Тускло светит маленькая лампочка. Десятка два чисто застеленных кроватей. Дети уже спят. Тихо, тепло. Сейчас с удивлением вспоминаю: война, бомбежки, неразбериха, народ живет в невероятной тесноте впроголодь, огромные массы людей передвигаются по стране, но поезда движутся, санпропускники работают, детям помогают.

Затемно штурмуем поезд. Никаких билетов. У каждого должны быть проездные документы и талон из санпропускника. Документы разной категории. У кого «круче», тех должны пускать в первую очередь, но для них, как правило, специальные вагоны. В «простые» вагоны остановить толпу никто не в состоянии. Лезут в двери и окна. Потом, ночью, по вагонам, продираясь сквозь спящих, ходят «спецкоманды» с электрическими фонариками и проверяют документы. Особенно строго «шерстят» едущих на запад, в сторону фронта. Если что не так – ссаживают или арестовывают. Нас не тронули. Пронесло!

Поезд, пропуская военные составы, медленно движется к Москве. Постепенно вагоны заполняются солдатами.

Наш вагон странный. Вторая полка раскладывается так, что получаются сплошные нары. Я лежу наверху, а Ася, сидя, спит внизу, стережет вещи. Ближе к Москве стало свободнее, но я сильно заболел. Тупо смотрю в окно, как летящие провода спотыкаются о столбы, и мечтаю о доме. Вот и пригороды Москвы. Казанский вокзал. Подходит звякающий трамвай. Вагон забит людьми. Покупаем у кондукторши билеты. Едем долго. Наконец Ася спрашивает:

– Какая следующая остановка?

В ответ, как музыка, звучит:

– Сейчас Проточный, а следующая – Николощеповский.

Это наша! Еле плетусь, пересекая пустую Смоленскую. Весь скарб у Аси. Еле несущ на плече огромные валенки. Только радость встречи с матерью и домом поддерживает меня на ногах. С удивлением гляжу на обезлюдивший город. Сворачиваем на Малый Каковинский. Встаю на 4-й этаж. Три звонка (квартира-то коммунальная). Выходит мать.

И вот наша комната в коммуналке. Поезда, полустанки, степные бураны, занесенные снегом хаты – все позади. Лежу в теплой ванне. В водонагревательной колонке потрескивают дрова. Вода капает из крана. Кап. Кап. Кап. Кап. Входит мать с раскрытой простыней. Я еле встаю, но «сон» не кончается. В эту ночь у меня был сильный жар. Я бредил. Какой-то человек садился на кровать, что-то говорил, было страшно. Но все же, после двухлетнего отсутствия, это был мой дом.

Вскорости удалось, всеми правдами и неправдами, привести из Родниковки остальных родственников, и московская жизнь потихоньку стала налаживаться.

### 3. НЕМЦЫ. 17 ИЮЛЯ 1944 г.

Утро. Мать, стоя на подоконнике, раскрывает ночное затемнение: шторы из плотной черной бумаги и драпное одеяло. Распахивает окно. В комнату врываются солнечный свет и птичий гомон. Птицы прыгают в ветвях старого тополя, достигшего четвертого этажа.

– Сходи за хлебом!

Надеваю короткие штаны на перекрестных лямках. Серую рубашку. Сандалии. Беру из буфета карточки и скатываюсь по лестнице на Малый Каковинский. Бегу по Решикову (ныне – переулоч Каменной Слободы) к Смоленской. На углу булочная, где мы «отовариваем» (получаем по карточкам) хлеб. К булочной со стороны переулочка примыкает небольшая пекарня (ее закрыли в начале 2000-х). У пекарни стоит хлебный фургон. Дверцы раскрыты. Шофер длинным железным крюком вынимает пустые деревянные поддоны и подает в оконце. Там их наполняют черными, резко пахнущими буханками. Он заводит поддоны в пазы и закрывает дверцы на задвижки.

Заворачиваю за угол и вхожу в булочную. Очередь маленькая. Слева за прилавком стоит продавщица в грязном фартуке. Она вырезает талоны из карточек, ловко орудуя ножницами, и нанизывает их на штыри (смотря какая карточка). Затем острым ножом отрезает кусок хлеба и кладет на чашу весов. Проверяет разновесы. Кювики весов не совпадают. Она добавляет еще кусочек. Довесок. Теперь порядок. Это дневная норма хлеба по двум карточкам – «служашей» и «детской» (в эти дни мы с матерью живем вдвоем). У двери стоит барыга (спекулянт). Предлагает поменять еду на чтонибудь ценное: серебро, антиквариат, одежду. Мать недавно привела такого типа

и обменяла на два мешка картошки дедово охотничье ружье «зауэр» со сменными стволами.

Возвращаюсь. Хлеб несу в руках. На углу Большого Каковинского стоит одноклассник Женька Сёмин. Худенький, светловолосый.

– Немцев погонят по Смоленке! Слышал?

– А когда?

– Не знаю, пойдем смотреть.

– Ага! Сейчас выйду.

Длинная комната разделена шкафом на жилую часть и столовую. В торце большое окно. На керосинке варится квашеная капуста с картошкой. Жижа – это суп, а гуща с маслом и куском черного хлеба – на второе. Можно, конечно, готовить на кухне, но там много народу, а нас пока двое.

– Ты куда намылился?

– Немцев смотреть! А тебе не интересно?

– Не испытываю ни малейшего желания. На работу надо. (Тогда работали, если надо, круглые сутки шесть дней в неделю. Часто и по воскресным дням). Метро бы не закрыли из-за этих немцев.

У Большого Каковинского (переулок исчез в Новобатской перестройке) на заборе сидят Сёмин и Ручёв. Меня ждут. Вдруг раздаётся резкий крик ручёвской матери:

– Ты куда залез? Духарик херов! Штаны порвешь – ремнем шкуру спущу!

– Ата! Матуха!

Ребята спрыгивают с забора, и мы мчимся через пустую улицы к Смоленскому метро (павильон стоял на нечетной стороне на углу 2-го Николощеповского переулка).

Справа за забором стройка. Рабочих нет. У павильона метро стоит мороженщица. Голубой фанерный короб с закругленными краями опирается на складные ножки. Брикет 90 рублей. Можно купить кусок. Она отрежет. Подходит военный. Старший лейтенант. С дочерью. Видно, отец с фронта (тогда не говорили «с войны»). Война для всех. А говорили «с фронта». Фронт – это где стреляют). На рукаве желтая нашивка. Значит, был тяжело ранен (красная – легко). Он покупает треть пачки за тридцатку (до декабря 47-го года тридцатка была отдельной купюрой). Смотрим с завистью. Сумма астрономическая. У Ручья отец на фронте, у Семы погиб, а мой пропал без вести в 42-м.

За павильоном на углу Николощеповского сидит на деревянной тележке (колеса – подшипники) безногий инвалид Митяй. Побирается. Сидит пьяный, в драной тельняшке. Перед ним кепка и толкалки, которыми он при движении отталкивается. Народ выходит из метро и кидает в кепку монеты (тогда подавали охотнее). Он раскачивается и поет хриплым голосом: «Орден Красного Знамени, лучший, расположим на правой груди...» «Видимо, какая-то революционная песня», – рассуждаем мы, – «сейчас-то лучший орден – Звезда». Мы в этом разбираемся. Любый погон, знак отличия, орден, медаль или колодку (колодка – металлический угольник, который оборачивают орденой лентой. Колодки носят вместо медалей с XIX века) издали различить можем.

Около забора стоит интеллигентный Кашин, дед парня из нашего класса. Продает петушки на палочке. На левой руке висит корзина из дранки, покрытая застиранной тряпкой. Дед смущен своей миссией и с опаской поглядывает на нас. А мы что? Мы ничего. Нам ясно, что дома он на керосинке патоку варит. Непонятно, как из этого фигурные петушки получаются.

Митяй сменил песню. Теперь около него на ящике сидит баянист с испитым лицом. Тоже инвалид. Они вдвоем тянут жалостливую песню: «...жене передай мой прощальный привет, а сыну отдай бескозырку...»

Стоим, слушаем. Стараемся запомнить слова. Песня нам нравится.

Немцев все нет. Бежим обратно, на свой угол. Замечаем статного усатого деда с четырьмя Георгиевскими крестами. Мы его и раньше видели. Прохаживался по Арбату.

– Дедушка, а когда немцев-то?

– Сам не знаю. Говорят, от Ходынки гонят. Пока дойдут...

Мы не отходим. Ордена рассматриваем. Они немного разные. Сема даже потрогал. А он – ничего, не отгоняет. Достал кисет. Вынул из него газету. Сложил уголочком. Насыпал махорку. Послюнявил. Склеил. Вынул трут. Приладил к кремню. Стукнул по нему кресалом и закурил.

– А ордена за что?

– Эти – за первую германскую. Молодой еще был, – сказал и глубоко затянулся махоркой.

Ручей предлагает пострелять: «Илюха! За поджигой сбегай! У меня пленка есть». Бегу домой. Ключ спрятан за дверной обкладкой. Поджиги лежит под шкафом в темной общественной передней. В квартире пять семей и еще большая кухня с черным ходом. Поджиги – это деревянный пистолет. Вместо ствола привязан проволокой противотанковый патрон. Берется обычный винтовочный патрон. В него засовывают туго скрученную кинолентку. Поджигают и быстро вставляют в противотанковый. Целимся в забор. Бах! Малый патрон с силой бьет в доски забора. Подобные стрелялки я изготавливаю сам. Отец, уходя на фронт, оставил мне перочинный ножик (малое лезвие сломано). Ценность необычайная. Им я и мастерию.

Стреляем, пока не кончается кинолентка. По переулку плывет облако вонючего дыма.

– Эй! Немцы!

Бежим на кольцо. Сверху с площади Восстания спускается серо-зеленая масса человек по 20 в ряд. Масса разделена на части. Впереди офицеры и даже генералы. Идут не в ногу. Разговаривают. Щурятся на солнце. Поношенные кителя, пилотки. Слева и справа колонну сопровождают солдаты с ружьями наперевес. Расстояние между ними метров тридцать.

У Рещикова переулка людей немного. В основном – старики, дети и бабы в линялых косынках. Стоят тихо. Без злобы. Скорее с удивлением: «Сколько мужиков-то!» Вдруг откуда ни возьмись, визжа подшипниками, прикатывает Митяй и врезается в колонну. Бьет пленных толкалками.

– За брата! – кричит. Немцы вяло отскакивают.

– Уйди, дурак! – орут охранники. – К фрицам не подходи! Нам стрелять велено!

– Я ж за брата, – огрызается Митяй. Разгоряченный, он двигается туда-сюда. Красуется перед бабами. Матерится и вновь со злобным воем несется в колонну. Бьет култышками по ногам. Охрана и ругается, и смеется, но покинуть пост и прогнать его не может.

– Да хватит тебе! – успокаивают Митяя бабы.

На той стороне скапливаются люди из метро и с трамвайной остановки на 1-м Смоленском переулке. Не могут перейти улицу. Пацаны, тем временем, пользуясь суматохой с Митяем, подбегают к немцам: «Фриц! Зажигалку давай! Фойерцойг! Фойерцойг давай!» Суют на обмен папиросы. Охрана разозлилась не на шутку. Передергивают затворы винтовок. Щелчки действуют. Сразу восстанавливается порядок.

Петька из дома номер шесть успел, оказывается, обменять зажигалку на полпачки «гвоздиков» (дешевые укороченные папиросы на жаргоне) «Кино». Он, красный от удовольствия, показывает ее нам и бежит искать брата Федьку. Мы за ним. Зажигалка протерта до латуни и пахнет бензином. Федька рассматривает поживу. Ему



лет пятнадцать. Работает на заводе. Лицо и особенно руки в фиолетовых точках от металлической стружки. «Где кремний? – ворчит он. – Вручил невесть что, фриц проклятый! Ну, ничего! Наладим». У Федьки с Петькой есть старшая сестра Тоня. Она проверяет билеты (метрончики) на станции Смоленская. Иногда нас пропускает. За так.

Пыль. Жара. Хочется пить. Бежим к Семину. Он живет в проходе между двумя полуразрушенными особняками (Один из особняков уцелел. Недавно его отреставрировали). Проход превращен в маленькую квартирку. Тамбур. Уборная с гнилым проваленным полом. Ржавая раковина. Над ней мутный осколок зеркала. По стенкам – обои с серыми пятнами грибка. До крана дотронуться нельзя. Бьет током (видно, кто-то ворует электричество для электроплитки). Ручей схватился, его тряхануло. Открываем кран поджигой. Вода шипит. Струя рваная. Жадно пьем, подставив ладошки.

– Илья! Дай поджигу на целан день («дай поносить»). Бля буду, отдам!

– Бери! Я себе ээконную (хорошую) пистонку делаю. (Пистонка – деревянный пистолет. Ствол – охотничий патрон. В патроне ходит боек с гвоздем на конце, толкаемый резиной. Боек бьет по капсулю. Тот бахает и летит, как пулька). Он прячет поджигу под доски пола. Мы опять бежим на угол.

Колонна продолжает движение, но наверху, у Десятинского, виден конец. Немцы надоели. Идем к нам во двор. Во дворе дворник Измаил запрягается в телегу с двумя большими обитыми железом колесами и, грохоча по булыжникам, направляется к Смоленской. (Булыжники в Арбатских переулках покрыли асфальтом в 1950-е годы).

– Измаил! Дай телегу покатать!

– Ходи давай! Брянский вокзал (теперь Киевский) спешу!

Спешит он к поезду, подвезти кому-нибудь вещи. Тогда в любой конец Москвы багаж возили, впрягаясь в тележки. Люди стали возвращаться из эвакуации, и работы у Измаила было много.

Немцы прошли. Следом чистящие машины-газогенераторки (грузовики, работающие на угарном газу: к машинам приделывали вертикальную печь) и полуторка с солдатами.

– Ребя! Айда на Трофейку!

– Не! – гнусавет Ручей. – Меня матуха заругает!

Остались мы с Семей. Двинулись в путь. Проходим Смоленскую по «той» стороне опасно. От нее до Ружейного живет злая трущобная шпана (все снесли в середине 1950-х. Там теперь магазин «Руслан» и треугольник с садиком). Поэтому мы идем до Левшинского и только там перебегаем к Неопалимовскому. Смоленские и арбатские – враги. Говорят, они стыкались зимой на льду у Бородинского моста. Кровищи было! А милиция только смотрела. Ей чем больше блатных убьют, тем лучше.

Проходим Zubovskую. Приближаемся к Крымской площади. Устали. Мне девять, а Семе еще восемь. Залезаем в нишу облупившегося особняка (сейчас дом 27, стр. 1 по Zubovскому бульвару). Разглядываем морды львов. Прижимаемся к окнам. Пытаемся рассмотреть, что там внутри. Видна только ножка стола с инвентарным номером. Немцы вдальке переходят Крымский мост. Сидим. Болтаем ногами. Орем митяевскую песню: «...а родом он был из Ордынки, а ветер гулял по широкой спине и в лентах его бескозырки...» Дальше текст не знаем, мычим и стучим ногами в такт мелодии. Улица пуста. Прохожих мало. Немцев уже не видно. Спрыгиваем и идем на Крымский мост.

– Знаешь? Один мужик на спор с моста прыгнул. Рыбкой. А внизу газета плавала. Он как в нее врежется!

Насмерть разбился!

– Ну да!

– Да! А если бы не газета, то жив бы остался и выплыл.

В конце моста, справа, виден дом (он и сейчас там стоит). На нем крупными буквами написано: «Выставка трофейного вооружения, захваченного у немцев в 1941–1944 годах». Трофейка занимает часть ЦПКИО имени Горького. Ту часть, что примыкает к реке. Вход платный, а в парк – свободный. Мы идем по парку почти до прудов. Огибаем забор и находим подкоп. Сразу лезть опасно. Могут «зашухарить» (обнаружить). Ложимся на траву и ждем. Подходят трое ребят. Два больших, а один лет пяти. Видно, брат. Они на пузе пролезают под проволокой и бегут. Их сразу замечают. Свистки. Крики. Погоня.

Теперь можно. Аккуратно пролезаем и на полусогнутых – к самолетам. Пытаемся крутануть огромный деревянный трехлопастный пропеллер. Цепляемся снизу за двойной фюзеляж «рамы». Хейнкели, юнкерсы, мессершмиты. Основная цель – попасть в кабину и что-нибудь открутить. Лучше всего часики со стрелками и цифрами, покрытыми слоем фосфора. Чтобы в темноте видно было. Но кабины закрыты толстыми желтоватыми колпаками из плекса. Колпаки заклинены. Кое-где видны выбоины, окруженные трещинками. Это от попадания пуль. Толстый плекс тоже полезен. Из него делают наборные ручки для финок. Но его не отломишь, а отпилить нечем.

Наконец нас замечают. Свистят. Спрыгиваем с крыльев и бежим к танкам. Тигры. Пантеры. Самоходные пушки. Фердинанды. В некоторые из них можно проникнуть, откинув тяжелую крышку люка. Один сидит на башне и «шухарит» (подстраховывает), а другой залезает внутрь. Тесно. Пахнет гнилью. Приборы свинчены. Посмотрел в узкую стальную щель – и наверх. Ползем под танк. Там, говорят, тоже люк есть. Грязно. Ржавый металл. Ничего не видно.

Залезаем на тупорылый грузовик со спущенными шинами. Кузов в пыли. Валяется металлическая бочка и обрывок троса. Пробуем открыть двери кабины. Не поддаются. Перепрыгиваем в серо-зеленый бронетранспортер. Тут тетка опять нас обнаруживает и начинает переливисто свистеть. Мы – под технику, и на четвереньках дёру.

Удивительное сооружение! Огромный плуг, который цепляют за паровоз. Этим плугом можно ломать пополам шпалы. Путеразрушитель. Тут же – кусок рельсового пути и ломаные шпалы. Лазить по нему неинтересно, и мы убегаем к большому дому, на котором написано: «Выставка трофейного вооружения...» Там самое важное – маленькие предметы. Сложность в том, что детей в этот дом одних не пускают: прут всё, что попало. Для прохода нужен взрослый. Выбираем молоденького курсанта в новой летной форме. Он остановился и закуривает папиросу «Дукат».

– Дядь! Проведи внутрь!

– А что, так не пускают?

– Не!

– Ну, пошли! Только я докурю.

Внутри по углам, огороженным веревками, груды оружия, мин, гранат, снарядов, фаустпатронов, противогазов и т. д. Но теток охраняющих – тьма. У стен – мотоциклы с колясками и без них. Цундапы, BMW. Особенно хороши маленькие танкетки (вот бы покататься!). На манекенах – формы немецких родов войск. Каски, плащ-палатки, пилотки, фуражки. Особенно хороши трехцветные фонарики. На втором этаже груды наград на столах. Ценные вещи в витринах под стеклом. Всякие кресты со свастикой в кружочке, знаки отличия, нашивки. Но самое интересное – морские кортики (вот бы мне!). У Витька

с Николощеповского есть такой. Отец с фронта притаранил. Витек выносил показать.

Домой плетемся усталые и голодные. Я хоть утром поел, а Семина мать в ночной смене была. Он только довесок съел. Мать его работает на ЗИСе (автомобильный завод имени Сталина; еще раньше – АМО (акционерное машиностроительное общество). Теперь ЗИЛ – имени Лихачева). Иногда приносит стиральные доски на продажу: приработок. Отец Семы погиб. Правда, мать «рабочую» карточку получает. Она, в смысле продуктов, отоваривается сытнее, чем «иждивенческая» или «служащая».

– Дядь! Сколько время?

Пожилый усатый прохожий останавливается. Лезет в карман. Достает большие потертые часы на цепочке. Щелкает крышкой:

– Без четверти пять. Но, молодые люди, надо говорить не «сколько времени?» а «который час?»

Отбегаем подальше. Я ловко передразниваю его движения и манеру говорить. Хохочем. Развеселились, и идти, вроде, легче стало.

Зубовская площадь пуста. Вдоль тротуара тянется телега. Лошадь покачивает головой в такт движению: «Цок, цок». Кучер сидит боком. Держит вожжи. Вдруг мимом, в сторону Смоленской, проносится темно-зеленый студебеккер. Огромный, с высокими бортами.

– Ну машинка! Федька говорил, из люминя сделана.

– Не! Из дюрала.

– Сам ты дураль – обижается Сема. – Я на днях видел автобус, переделанный из трехтонки. И люди в нем сидели, но не понял, рейсовый или нет. Говорят, скоро рейсовые пустят.

Вот и наш угол. Булочная. Решиков переулок другим концом опирается в шикарный особняк с палисадником и милиционером у входа. Мы его называем «Американское посольство». На самом деле – это дом посла. Рядом Спасо-Песковская площадь с садиком. В просторечии «кружок». Вдруг видим: у дома 8 останавливается большой черный «паккард». Из него вылезают два здоровенных американца в шляпах, галстуках и широких костюмах в полоску. Сема срывается и бежит, спотыкаясь, к машине. Бегут и другие дети. Они знают: американцы будут раздавать шоколад. Американцы смеются, шлепают ребят по стриженным затылкам: «Гуд, гуд. Тэйк ит плиз!» Я остаюсь на углу Малого Каковинского. Мать категорически запретила участвовать в подобных раздачах. Хотя... шоколадка мне бы не помешала.

В это время из подворотни показался Юрка Лашин. Оголец (криминальный тинэйджер) лет четырнадцати. На ногах «прохоря» (низкие сапоги) гармошкой. Брюки напуском. На голове кепка клинышками. На макушке пуговка «иждивенец». К губе приклеена папироса. Я хочу предупредить Сему, но не успеваю. В ворота вбегают радостные близнецы из дома два (окна в полуподвал) Вовка и Толик. Плитки у них за пазухой. Лашин хватается братьев и отбирает шоколад. Вовка пытается вырваться, но получает «по сопатке». Кровь. Слезы. Я бегу к Семе, и мы через Песковский и Карманицкий огибаем опасную зону. Через несколько дней я видел, как Лашина били в грязной подворотне два здоровых парня. Кепка с клинышками валялась в пыли. Он всхлипывал и повторял: «Если я виноват, то бей, но я не виноват!» В чем была вина Лашина, я не знал, но его долго били по лицу сильными отрывистыми ударами. Больше я его не видел.

Сема набил рот шоколадом. Дал и мне дольку:

– Остальное матухе! А то у нас только пакетик сахара (сладкий порошок с едким привкусом, заменявший сахар. Продавали спекулянты) остался. Чай пьем вприглядку. Шоколад толстый, плотный, горьковатый. Специально для летного состава.

– Илюха! После этого шоколада жрать еще больше хочется. Давай спекульнем на семь!

– А деньги где взять?

– Попробую у деда соседского стрелнуть.

Сема убегает в свой Большой Каковинский, а я замечая Алика из дома два. Аккуратно одет. Новые штаны застегнуты под коленкой. Белая рубашка с отложным воротником. Он гоняет железный обруч, поддерживая его фигурной проволокой. Я тоже пробую. Здорово! Бегаем до Дурновского переулка (теперь улица Композиторская) и обратно. Обруч тренькает о колесо. Дзинь. Дзинь. Изображаю трамвай: «Берегись юза! Листопад!» Подобные плакаты стояли, а иногда висели на растяжке осенью у трамвайных линий. Ору, пугая редких прохожих.

Сема принес пять рублей. Мчимся на Арбат к кинотеатру АРС. Там идет какая-то мура про колхозников. В кассе никого. Покупаем два билета на семь тридцать. Ныряем в подворотню и по дворам проходим к «Юшке» (Кинотеатр юного зрителя. Сейчас снесен. Находился напротив зоомагазина на Арбате), чтобы не видели, что мы от АРСа пришли. Тут толпа. Билетов нет. Идет «Сестра его дворецкого» с Диной Дурбин. Продаем билеты счастливой паре за червонец. Они хорошо одеты. Девушка в крепдешинном платье, а парень в потертой кожаной летной куртке на молнии («змейке»). Продаем – и дёру, пока не заметили, что билеты из другого кино. Пять откладываем деду, а на остальные идем в коммерческий (сейчас это Смоленский гастроном). В коммерческом продукты продаются за деньги, но денег ни у кого нет. Все по карточкам. Покупатели там – спекулянты, орденосцы (за ордена тогда платили), премированные и иностранцы. Внутри рай земной. Виноград свешивается гроздьями из многоэтажных вазочек. Яблоки. Мандарины. А запах... Вина. Икра. Конфеты горками в розетках. Шоколадные домики. Консервы... Слюнки глотаем. Тихо переговариваемся:

– Давай гематоген купим! (Гематоген – подслащенная сухая бычья кровь. Гематоген и витамины – наиболее доступные детские сладости тех лет).

– Ты чё! Его же в аптеке продают!

– Ну, тогда витаминок кругленьких разноцветных.

– А они девять рублей стоят.

– А не отсыпят?

– Ты чё!

В результате покупаем кусок серого хлеба. Сидим на «кружке» у вентшахты метро. Слышим шум проносившихся внизу поездов и едим хлеб с безумно вкусной хрустящей коркой (тогда его называли «по рубль семьдесят»).

– Тетенька! А салют сегодня будет?

– Да нет, милоч. Вроде не объявляли.

– Ну, все, Сема! По домам.

Малый Каковинский переулок, дом четыре, квартира восемь. Ключа под плинтусом нет – значит, мать дома. Три звонка. Открывает Лидия Федоровна (она ближе всего к двери живет):

– Как это мать позволяет тебе так поздно гулять?

– Да еще же светло!

– Я Диме позже семи не разрешаю.

Дима – ее племянник. Мой друг. Сейчас он в пионерлагере. Отец у него летчик. На севере воюет, и фамилия – Соколов! Иду в нашу комнату. Она в конце коридора. А там гости! Мать со своими подругами Ольгой Евгеньевной и Лизой, техником из ее бригады. Пьют водку из маленьких хрустальных рюмок. Водку наливают из затаго граненого графина. На столе хлеб, американская тушенка, квашеная капуста и килька из коммерческого. Оно уже занавешено для затемнения.

– А! Явился!

– А у вас, Илюша, счастливая новость. Вот мы и выпить решили, – это Ольга Евгеньевна. Муж у нее секретный химик «на брони». Это официальное освобождение от армии. Давали его только наиболее ценным работникам тыла. Лиза, молодая круглолицая блондинка, блаженно улыбается.

– Вот! Смотри! – говорит мать и протягивает мятый листок бумаги в клетку, сложенный треугольником.

Я сразу понимаю, в чем дело, но не смею поверить. Неужели отец нашелся?! Да! Это письмо от отца. Всего несколько строчек: «Муся! Я жив! Недавно освободили из...» Зачеркнута целая фраза (работа военной цензуры). «Теперь буду воевать в... – зачеркнуты две фразы. – Целуй Илюшу и всех наших близких. Почта уходит. Спе-шу! Пришлю большое письмо! Полевая почта 37/49...»

Мать:

– Судя по всему, в плену был, а воевать его определили в артиллерию. Я на просвет прочла.

– Хорошо, что воевать, – вздыхает Лиза. – А нашего Сергея Васильевича после плена сразу арестовали – и в лагерь! Даже родных не увидел.

Из черной круглой «тарелки» (радиоточка, к которой подходили провода центрального радиовещания. Один канал. Это был раструб из черной бумаги с колесиком, регулирующим звук) раздаётся голос Левитана: «Сегодня, 17 июля 1944 года, наши войска овладели городом...» Ура! Значит, салют все-таки будет! Мать походит к небольшой карте СССР, висящей на стене, и передвигает на запад флажок. Карта старая, вся истыкана булавками.

В это время за окном бухает. Тушим свет и к окну. Отодвигаем маскировку. Салют!

– Маруся, это в честь спасения твоего Георгия! – говорит, немного картавя, Ольга Евгеньевна. Все небо перечеркнуто прожекторами. Огромное пространство внутри квартала с пустырями и бывшими садами озаряется яркими вспышками. Три цвета – желтовато-белый, зеленый и красный (раскидистые фейерверки появились позднее).

Толпа ребят, крича при залпе, перебегает из конца в конец квартала. Надо успеть перебежать, пока падают горящие ракеты. Игра такая: кто скорее пробежит.

Гости прощаются. Ольге Евгеньевне на метро до Маяковской (пересадка на Площади Революции), а Лизе близко. В Проточный переулок.

– Садись есть. Где был?

– А когда отец с фронта придет?

– Не знаю, – вздыхает мать. – Лишь бы живым остался.

– А Сталин сказал, что в этом году война кончится.

– Не думаю. Но отцу уже сорок, и его должны демобилизовать в первых эшелонах.

Все. Пора спать... Дни в детстве кажутся нескончаемо длинными.

Отца демобилизовали через год. После плена он воевал заряжающим, на пушке-сорокапятке (противотанковой пушке сорок пятого калибра). Вена. Будапешт. Прага. Южная Германия. Солдат... Я мечтал посетить с ним трофейку. Он ходил со мной всюду. Покупал мороженое. Водил в кино. На новогоднюю елку. Даже в консерваторию. Но на трофейку идти отказался. О войне рассказывал редко. Немного словно. И всегда глубоко при этом вздыхал.

#### 4. УРОК. ВЕСНА 45-ГО

В марте 45-го в стране царил эйфория. Наши войска подступают к Берлину. Каждый вечер салюты. Взяты Кенигсберг, Вена, Будапешт, Бреславль. Люди на подокон-

ники стали выставлять патефоны (у кого есть). Несется музыка, вальсы, фокстроты и песни из кинофильмов «Два бойца» и «Большая жизнь». На чердаках прекратились дежурства по обезвреживанию бомб-зажигалок. Снято затемнение, и теперь каждый вечер не надо тщательно занавешивать окна. В редкие свободные дни люди стоят на подоконниках, смывая со стекол перекрестные бумажные наклейки от бомбовой ударной волны. У нас, в Малом Какоевском переулке, человек упал с пятого этажа. Мыл окна. Говорят, с фронта на побывку прибыл. Жене помогал. Вся Москва обсуждала. На фронте-то судьба хранила, а тут...

В городе стали появляться распивочные, табачные и газетные киоски. Среди газет – английская «Британский союзник». (Мы еще союзники. Холодная война впереди). В этой газете я впервые увидел (на второй странице внизу) комиксы. Что-то фантастическое, о «сокровищах громовой луны». Бегал, покупал, пока не закончилась серия. Там же зимой была карикатура: на Кремле висит термометр. На нем минус 40. Под термометром очередь за мороженым и надпись: «Такой народ не будет побежден!» А народ ждет. Ждет, что эта ужасная война скоро кончится. Кончится нашей победой.

Вечереет. Скоро очередной салют. Девушки с Какоевского кричат родителям: «Киньте денег на метро! Мы поедем на Красную площадь салют смотреть!»

Гулко хлопают на бульжную мостовую бумажки с завернутой мелочью, и они, радостные, мчатся к метро. А мы, малолетки, бежим на Арбат. Там с высокого дома, поглощенного сейчас министерской высоткой, салютуют из ракетниц солдаты. Пыжи, шипя, летят на мостовую. Собираем, подбрасываем и бегаем с криком по улице:

– Ура! Скоро победа!

Москва. Апрель 45 года. Дурновский переулок. 69-я школа. 2-й класс. Настроение радостное. Снег почти сошел. Скоро каникулы. Мы уже немного научились писать, и сегодня диктант. Тетрадок не хватает. Многие тетради самодельные. Учебников тоже не хватает. Их выдают в библиотеке, строго до конца года. Вера Серафимовна ходит по рядам:

– Так. Вынули тетради! У кого нет – можно листы. Сначала повторим имена. Пишите: Шура. Вера. Коля. Зина...» Она прямая, лицо строгое, на виске – след от ранения. Одета в темное полинялое платье. На ногах небольшие хромовые сапоги. На левой груди – два Ордена Красной Звезды, а на правой ряд наградных колодок. Выражение лица строгое. Читает четко, артикулируя каждую букву:

– Теперь города. Пишите: Киев, Москва, Курск, Сталинград...» Скрипят перья. Одна чернильница на двоих, а то и на четверых. В классе тишина. Писать трудно. Все руки в чернилах. Перья плохие. Делаем кляксы, но в каждой тетради есть промокашка: она спасает положение.

Вера Серафимовна прошла по рядам, заглядывая в тетради и молча, пальцем, указывает ошибки.

– Теперь напишем предложения. Румяной зарёю. Румяной зарёю покрылся восток. Восток. В селе за рекою погас огонёк. Огонёк...» Зазвенел звонок. Учительница собрала тетради и ушла. Это был ее последний на сегодня урок.

Я приехал в Москву в феврале 43-го. Всего два года назад. В городе еще сильно пахло войной. Было голодно, холодно, как-то темно и неприятно. Граждане (так тогда всех называли) работают без выходных. Рабочий день не нормирован. Принято считать, что так работает сам Сталин. Из газет – одна «Правда», но ее мало кто выписывает. Вся информация из «радиоточки». Это раструб из черной бумаги с колесиком в центре для регулировки звука. Военные сводки и последние известия идут оттуда. Оттуда же редкие литературные передачи и музыка.

Купить что-либо за деньги можно только на рынке, но денег практически нет. Зарплаты мизерные. Деньги есть только у орденосцев, секретных работников, генералов и других, «особых» людей, а также, конечно, у спекулянтов. Для них открыты редкие «коммерческие» магазины. Для простых людей – все по карточкам. Карточки можно «отоварить» только в спецкооперативах (кто к какому прикреплен). Отдельно хлеб, отдельно продукты. Одежду купить вообще негде. На вещи иногда дают на работе «ордера». Их получают на неких складах. Что там в данный момент есть, то и берут. Потом продают на рынках и там же покупают то, что нужно.

Я пошел в первый класс, опоздав на полгода. Тогда люди возвращались из эвакуации, и такие опоздания были обычны. Помню первые уроки. Школа почти не отплавилась. Холод. В классе 11 градусов. Темнеет быстро. Лампочки светят вполнакала. Сидим в плохоньких пальто и шапках, сжав руки в кулаки. Учителей не хватает. Пожилая библиотечарша, кутаясь в старую вязаную шаль, читает вслух сказки Перро. На партах лежат шикарные дореволюционные фолианты этих сказок в совершенно истрепанном состоянии. В них потрясающие иллюстрации Гюстава Доре. Я знаю эти сказки, но такие картинки вижу впервые. Вот Синяя борода, выпучив глаза, отбивается от братьев убитых им жен. Вот волк пристает к Красной Шапочке. Она с корзиночкой и в шляпке с лентой. Вот среди гигантских деревьев гуськом пробирается группа маленьких детей во главе с матерью, ведущей их на верную гибель. А последним идет Мальчик-с-пальчик и разбрасывает камушки, чтобы отыскать дорогу домой и т. д.

Когда стало теплее, начали писать буквы и слова. Тетрадей нет. Родители где-то достают бумагу и сами разлиновывают прописи. Писали огрызками карандашей. Перья дефицит. На большой перемене в класс вносят картонную коробку с бубликами и конфетами. Всем раздадут, строго по счету. Бублики надевают на запястье и обкусывают по кругу. Никаких буфетов.

Вернемся, однако, в класс. Учительница ушла, но на перемену нас не выпустили. В класс вошла завуч с врачом и какими-то чужими тетками. Внесли приборы для уколов. (До одноразовых шприцов еще более полувека). Класс притих. Страшно!

- А теперь по списку, быстро, не задерживаться!
- Сколько их там у вас?
- Тридцать два
- Давай первый! Анашкин.

Наконец я прошел. Пошел и мой сосед по парте Сёмин, бледный, худой. Когда после укола он возвращался на место, в проходе вдруг упал и стал дергаться. Подбежали, дали нюхнуть ватку и быстро унесли. В конце медицинской процедуры Сёмин вернулся.

- Ну! Чо? – говорю.
- Бублика дали поесть. И конфетку. Сказали от голода, – отвечает.

С лета 44-го жизнь стала постепенно меняться к лучшему. По Садовому кольцу прогнали немцев. Открыли в Парке культуры выставку трофейного немецкого вооружения. К Новому году бабы из Подмосковья впервые за годы войны привезли на продажу елки. На улицах с лотков начали продавать тоненькие книжечки из серой газетной бумаги, а потом и картонные елочные украшения. Это воспринималось как слабое возвращение счастливой, довоенной жизни. Но главное – в кооперативах появились «американские» продукты. Консервы: железная банка, слегка «на конус», с ключиком. Скручиваешь полоску – и банка открыта. Благодаря «конусности» содержимое легко выскальзывало на тарелку. После голодных лет очень вкусно. Вместо яиц давали желтый яичный порошок. Тогда же мы впервые познакомились

со сгущенкой и с молочным порошком фирмы «Нестле». Еще давали «корнфлекс» – овсяные хлопья. Их мешали со сгущенкой и объедались! Но, естественно, все это «изобилие» по карточкам и строго нормировано.

А Вера Серафимовна тем временем отнесла тетради в учительскую и кинула их на свой стол. Тетради и листы рассыпались по столу. Она опустилась на старый протертый диван и стала массировать виски. Учительская постепенно наполнялась. Вошел невысокий прихрамывающий военрук. Седые волосы коротко стрижены.

– Ну, чо, братва, отпахали на сегодня.

Никто не ответил. Бормоча песенку, он стал ходить между столов, как бы невзначай просматривая, что на них лежит. Все настороженно за ним наблюдали. У стола Веры Серафимовны он стал перебирать тетради. Вдруг один лист его заинтересовал. Он его вынул, поднес к глазам. Затем ухмыльнувшись, спрятал листок за пазуху и поспешно вышел.

– Вера! Ты видела?

Она полулежала, закрыв глаза:

– Да черт с ним. Надоел.

Школа опустела. А военрук вышел на улицу, подошел к телефону-автомату, опустил в щель 10 копеек и набрал номер:

– Владлен Пантелеевич. Это Чуркин из 69-й. Отсигнать хочу. Да, да! Сейчас подскочу.

Через два дня утром нашу учительницу вызвала директориса и протянула листок:

- Вера, это твой ученик?
- Мой, конечно. Тебе его наш Аника-воин принес?
- Он самый.
- Ну и что?
- А ты, милочка, посмотри повнимательнее.

На листке, написанном корявым детским подчерком, с правками и кляксами, красным карандашом было подчеркнуто слово Сталинград. Без буквы Р. Получалось – «Сталин гад».

- Ну и что?
- А то! Завтра приедут. Поняла?
- Из райкома?
- Ну да, из райкома, как же. Бери выше. Из ГБ!
- Вот сволочь. Вот гад!
- Ты, Вера, поаккуратнее, я же при исполнении!
- Я готова ответить!
- Ты-то ответишь, но они не только им, но и его матерью займутся.

– А мать при чем?

– Что, не понимаешь? С тобой им возня, а ее посадить постарайся. Парня в исправдом. С ГБ шутки плохи. Помнишь, как у Шахназаровой? Ее с детьми в ссылку. Жилплощадь отняли. В больших городах жить запретили. А она старые довоенные журналы выкинула, а там портрет вождя был. Как выяснили? Очень просто. На журнале номер квартиры почтальон написал, чтобы не перепутать. А помойка-то во дворе. Поняла! А у этих отец, надеюсь, на фронте.

- Вроде да. Я-то не всех знаю. Недавно в этом классе.
- Ну, если на фронте, то, может, сошлют, а не посадят.
- Господи! Ну и дела!
- Ты, милочка, учти. Мы обе под ударом. Кто просил тебя в этот диктант такие сложные слова вставлять. А раз включила, у каждого должна была проверить. Там, сразу в классе. Ты-то член райкома, может, выговором отделаешься. А на мне районо отыграется. Что-то придумать надо.

– Надо, конечно! Знаешь, пойду-ка я со своими военными посоветуюсь.

– Попробуй. У меня тоже появилась одна идея.

Я сбегая на Воровского в детскую поликлинику к Семену Иосифовичу. Тоже посоветуюсь.

А листок этот проклятый написал я. Но ни я, ни мать обо всем происходящим, естественно, не знали. Ходил в школу, готовил уроки... Через несколько дней мать вызвали в школу. В кабинете завуча, развалясь, сидел незнакомый молодой человек. Представился, как работник такого-то отдела ГБ. Ухмыляясь, он открыл папку.

– Так-так. Тут сигнальчик поступил. Нехорошо, получается. Значит, дома вы так о вожде отзываетесь, – сказал он и протянул листок с моими каракулями. На нем красным карандашом было обведено слово Сталин-гад.

– Это же ошибка. Он еще писать толком не умеет.

– Ах, вот как, не умеет. А другие тоже не умеют, но не ошиблись. Значит, дома их по-иному учат.

Так-то вот, гражданка, получается.

– Поймите! Зачем мне Сталина ругать?

– Зачем? А разве нет причин. А?

– Да нет никаких.

– Когда вашего отца расстреляли?

– В 38-м году.

– Ну, вот и причина высветилась. С этого мы и начнем!

Затем нагнулся через стол и тихо зашипел: «Учи, мамаша! Такие, как вы, детей своих сызмальства родину и вождей наших ненавидеть приучают. У нас для таких далекие места имеются». Откинулся на спинку стула и резко объявил: «Теперь марш домой! Из квартиры ни шагу. На работу мы сами сообщим».

Мать в ужасе пришла домой. Мало того, что ей грозил арест и посадка. Мало того, что и я мог отправиться в колонию для малолетних преступников. Часть семьи находится в ссылке в Казахстане. Мать умудрялась им помогать. С работы ее должны выгнать, и помогать будет нечем. А без ее помощи они погибнут. Пришли подруги. Поговорили, но что тут поделаешь.

Вечером того же дня Вера Серафимовна пришла к нам домой и долго тихо беседовала с матерью. Я сидел поодаль, за шкафом; комната-то одна. Сначала думал, меня ругать пришла. Но потом стал прислушиваться и улавливать отдельные фразы.

– Ну как же так...

– Мне надо было сразу тетради в портфель спрятать. Знала же, что этот военрук всегда по столам шарит. Но висок так разболелся...

– Да при чем здесь вы!

– На фронте, в своем полку, я знала, как с такими Чуркиными поступать. А тут...

И учительница стала шепотом матери что-то объяснять.

– Нет, нет! Мой сын не идиот. Нельзя его в школу для дефективных. Что вы говорите?

– Вы же умная женщина. Разве не понимаете, что это единственное спасение и для него, и для вас, и даже для меня. Они сразу потеряют к этому эпизоду интерес. Что с дефективного и умственно отсталого возьмешь?

– Какой ужас! А где эта школа хоть находится?

– Тридцатая-то? Да... там еще видно будет, переведем мы его или нет...

Дальше очень тихо...

– Неужели это возможно...

– Все возможно. Целое лето впереди. Да и война скоро кончится.

Они много, нервно курили. Потом выпили «по рюмашке», и учительница ушла.

На следующий день меня вызвали в медпункт, и со мной как-то очень спокойно поговорил старенький врач. Он стучал молоточком по коленке, заставлял с закрытыми глазами доставать до носа, водил пальцем перед глазами. Потом долго писал, бурча себе под нос. Как я понимаю, он признал у меня некое умственное отставание и порекомендовал перевести в 30-ю специальную школу.

Но пока я еще продолжаю ходить в 69-ю. Стало тепло, и во дворе пошли уроки военного дела. Маршируем с деревянными ружьями. Поем песню:

Отцом и братом Суворов был,  
Сухарь последний с бойцом делил...

Он на Очаков, на Измаил,

Победно войско свое водил.

Вообще маршировали мы часто. Однажды я пришел домой и объявил, что получил пятерку по пению. Мать очень удивилась, поскольку слуха у меня не наблюдалось.

– А что ты пел?

– Я не пел. Я под музыку маршировал.

Так мы маршировали с деревянными ружьями. А старшие ученики маршировали с нормальными винтовками. Стрелять из них было нельзя, поскольку у них были сверлёные затворы и сточены бойки. Естественно, наличие даже таких ружей регулярно проверялось. Время-то военное.

И вот в описываемые дни, как-то очень вовремя, нагрнула оружейная проверка. Проверяли тщательно. И надо же! У нескольких винтовок затворы оказались недосверлены, да и бойки какие-то сомнительные. Раньше проверяли, но поверхностно. Ну, есть дырка в стволе, и все. Теперь увидели, что из них можно стрелять. За нелегальное хранение огнестрельного оружия в военное время, да еще в школе могли отдать под суд. Но директриса отделалась легким выговором, а Чуркина перевели на другую работу.

Наконец война кончилась. И само понятие «фронт» вдруг потеряло свой зловеющий смысл. Миллионы людей возвратились в свои дома. Но радость была недолгой. Их встретила полуголодная страна, разрушенная до Волги. Жилища уничтожены, поля сожжены, земля исковеркана. Семьи рассыпались, близкие погибли, исчезли, арестованы, угнаны в Германию или сгинули в лагерях. У крестьян и у вернувшихся в деревни фронтовиков изъяли паспорта и ограничили свободу передвижения. Бездомные, бессемейные и безработные фронтовики стали пополнять городские банды. Набранные в милицию во время войны девушки не могли им противостоять. Выходить ночью стало небезопасно. В проходном дворе на Смоленской убили милиционершу, отобрали оружие и изнасиловали. Объявились банды домовников, скокарей, щипачей, гоп-стопников и каких-то «попрыгунчиков». Именно тогда в Москве появилась легенда о банде «Черная кошка».

Итак, фронтовики недолго были героями. Их было слишком много. За ордена платить перестали. Праздник День Победы – 9-е мая – отменили. Никаких привилегий. Пусть живут, как все. Безногих инвалидов выслали из больших городов, чтобы глаза не мозолили. Число недовольных фронтовиков росло. Видимо, люди, прошедшие войну, смелые и инициативные, могли представлять определенную угрозу государству. На них и переключились органы ГБ. Так, например, миллионы людей, побывавших в плену, были разбиты на группы по степени «вшивности», и их стали арестовывать, щедро пополняя ГУЛАГ.

Но мне повезло. Поскольку военрук исчез, а органы потеряли к этой истории интерес, следить за моим переводом в школу для дефективных стало некому. А тут война кончилась, и всем было не до «недоразвитого» ученика. Так я и проучился в 69-й до четвертого класса. Вера Серафимовна скоро ушла. Ее перевели на партийную работу. Директриса тоже сменилась. Потом с фронта пришел отец. Мы переехали на Плющиху. Ссылную бабушку и всех остальных мать нелегально перевезла в Москву, где они и прожили до хрущевской реабилитации. Началась другая жизнь. Но помощь этих двух женщин я никогда не забуду. Я видел их недолго, да и для них мой случай был не очень значим. Но, сделав доброе дело, они сыграли огромную роль в судьбе моей семьи.